# Сабанеев мост

**Автор:**
Михаил Бродский

Сабанеев мост

Михаил Бродский

Семилетним ребенком Михаил Бродский осенью 1941 года в Одессе стоял под пистолетом румынского офицера. Он сидел в тюрьмах, потерял мать, был разлучен с отцом. Его спасли одесский врач и лейтенант румынского гестапо – сигуранцы. Автор пишет о своем детстве во времена, когда смерть перестала быть событием, о юности в московском театральном мире, о взрослой жизни крупного советского инженера. Война и оккупация, люди, среди которых он жил, знаменитые и неизвестные, детективные истории, обитатели зоны, министры – такова исчезнувшая натура, воссозданная автором с безжалостной наблюдательностью и замечательным юмором.

Михаил Бродский

Сабанеев мост

© М. Бродский, 2018

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО «Издательство Аст», 2018

Издательство CORPUS ®

* * *

# Часть I

## Мама, нас не убьют

За радость тихую дышать и жить

Кого, скажите, мне благодарить?

О. Мандельштам

### Три макушки

Мое появление на свет было скандальным и для многих неожиданным. Новость о том, что молодой юрист Ольга Яковлевна Барановская родила сына от знаменитого одесского адвоката Якова Борисовича Бродского, быстро облетела город. Одесская интеллигенция, так называемая «вся Одесса», была фраппирована. Адвокат Бродский был уже немолодым человеком сорока шести лет, имел жену и десятилетнего сына; теперь он довольно открыто стал жить на две семьи.

Отца знал весь город, он имел репутацию светского льва, женщин любил и имел у них успех. Помню его хорошо сложенным крепким мужчиной среднего роста, темноглазым брюнетом с крупными чертами лица, четким рисунком бровей, устремленных от переносицы к вискам, с неизменной трубкой черного дерева во рту и с черной же лакированной тростью элегантной простоты, висящей на сгибе левой руки или описывающей сложную, но неизменно элегантную траекторию при ходьбе. Обращали на себя внимание прямой офицерский пробор и галстук бабочкой, который в эти якобинские времена осмеливались носить лишь немногие интеллигенты, и строгий костюм, к которому очень подошла бы

орденская ленточка в петлице. И крест у него был, солдатский Георгий, полученный за мужество и храбрость в боях с австрийцами в августе 1914 года, когда он, раненный в ногу, вывел свой взвод без потерь из-под огня, но, разумеется, носить этот крест в те годы было невозможно.

Такой запомнилась внешность отца в довоенные годы, хотя, вероятно, в этих впечатлениях есть отблеск более поздних воспоминаний. Блестяще образованный, учившийся в Петербургском и Новороссийском, то есть в Одесском, университетах, свободно владевший французским языком, он, как и его отец, мой дед, умерший задолго до моего рождения, стал присяжным поверенным, имел практику еще до Первой мировой войны, а широкую, может быть – даже европейскую, известность получил в середине двадцатых годов, выиграв уголовный процесс, который советская власть вела против одесских иерархов православной церкви. Отец защищал не только деятелей церкви, он защищал право, совершенно не предполагая, что спустя почти два десятка лет, во время румынской оккупации Одессы, его судебные речи в защиту духовенства спасут ему жизнь.

Я думаю, требовалось немалое мужество, чтобы взять на себя защиту подсудимых, которые уже своим социальным положением противостояли власти, а выиграть у этой власти процесс – это был вызов, перчатка, брошенная беззаконию, но в тот период этот вызов был лишь взят на заметку компетентными органами и временно оставлен без последствий.

Речи отца, как и весь его архив, исчезли после войны в недрах НКВД. Сохранилась лишь одна из них, где отец выступил в несвойственной ему роли общественного обвинителя убийцы – фельдшера, застрелившего известного одесского врача, доктора Гегелашвили. Эта речь, заставляющая вспомнить речи знаменитых дореволюционных судебных деятелей, интересна оценкой социальной роли интеллигенции, не совпадающей с отношением к ней партийных вождей, а также глубоким психологическим анализом личности убийцы, исполненного классовой ненависти и в то же время одержимого своеобразным комплексом классовой неполноценности.

Из рассказов старых одесситов и воспоминаний самого отца, которые я с интересом слушал в последние годы его жизни, можно было представить скептическое отношение отца к пролетарской юстиции. Язвительность его выступлений периодически имела следствием исключение из коллегии адвокатов. Помню рассказанный мне эпизод типичного процесса о

вредительстве на одном из сельскохозяйственных предприятий. Эксперты, которым было поручено разобраться с его финансовым состоянием, обнаружили среди произведенной продукции молодое вино и, проверяя его качество, переусердствовали до такой степени, что не смогли явиться на заседание суда.

– Вот что значит не щадить живота своего правосудия ради, – заявил отец под сдержанные смешки аудитории и был немедленно обвинен в неуважении к суду.

Положение, занимаемое отцом в одесской адвокатуре, было значительным, поэтому рано или поздно период бездействия заканчивался и коллегия восстанавливала его в своих рядах до следующего конфликта. В один из таких периодов, лишенный права заниматься адвокатской практикой, отец служил юрисконсультом в итальянском консульстве, находившемся в те годы в Одессе.

– Однажды консул, – вспоминал отец, – обратился ко мне: «Господин Бродский, у нас в Италии люди с вашим образованием и вашего склада обычно делают дипломатическую карьеру». Конечно, я не мог объяснить ему, что наши дипломатические кадры формируются по совершенно иному принципу.

Понятно, что облик отца, его врожденный аристократизм, эрудиция, ораторское искусство, иронический склад ума привлекали к нему внимание окружающих. Неудивительно, что мать, хотя уже и не юная девушка, а взрослая, замужняя женщина, увлеклась этим человеком и полюбила его.

История их любви мне неизвестна. Мать разошлась со своим мужем, врачом Анатолием Барановским, но вторая семья не сложилась. Отец не оставил жену и сына, свой хорошо налаженный быт, предпочтя роль приходящего к нам с мамой мужа и отца. Для маминых родителей, людей традиционных взглядов, это было потрясение, тяжелый удар. Смягчало удар лишь то, что отец дал мне свою фамилию, придав тем самым событию моего рождения вполне законный вид.

Как бы там ни было, я появился на свет в положенный срок и начал жить. Три макушки, которыми отметила меня природа, внушали моим близким известный оптимизм. Пожалуй, для оптимизма это было единственным надежным основанием. Ведь я родился в феврале 1934 года, в черные времена. Только что закончился XVII съезд ВКП(б), в истории партии официально названный съездом победителей. Диктатура Сталина утвердилась, и преданность вождю не спасла победителей от участи побежденных оппозиционеров: наступили годы террора,

и большинство делегатов съезда, как и миллионы других людей, были объявлены врагами народа и вычеркнуты из жизни и из истории.

Много лет спустя, в эпоху политической оттепели, когда в библиотеках после многолетнего моратория стало возможным получить подшивки старых газет, мне захотелось окунуться в атмосферу начальных дней моей жизни. Тогда-то, если не ошибаюсь, в февральском номере «Правды» я и увидел впервые фотографию вождя, которая позднее стала общеизвестной. Сталин стоял на трибуне и, улыбаясь, целился в делегатов из ружья, только что подаренного ему тульскими оружейниками. Делегаты аплодировали. Трагическая метафора эпохи поразила меня. Не только делегаты съезда – вся страна в гипнотическом психозе трепетала под прицелом вождя, и, мне кажется, только большие оптимисты решались завести детей. В среде интеллигенции оптимистов было мало, среди друзей и ровесников моих родителей было много бездетных семей. Возможно, я был нежеланным ребенком, но мое раннее довоенное детство было безмятежным и счастливым.

## У папы две жены

Шли первые месяцы и годы, не оставившие в моей памяти следов. Первой вспышкой, разбудившей мое сознание и включившей эмоциональную память, был ужас. Хорошо помню смятение, охватившее меня, двухлетнего, играющего на полу нашей маленькой комнаты, при виде множества неизвестных чудовищ, появившихся из принесенной с рынка соломенной корзины и медленно ползущих ко мне. Чудовища были маленькие, но страшные, зеленоватые, хвостатые, с угрожающими клешнями. Было от чего испугаться и залезть на стол. Мама вошла в комнату и рассмеялась.

– Глупый, это же раки, – сказала она.

Больше себя в этой длинной неуютной комнате я не помню. Это значит, что очень скоро мы переехали в большой, красивый, но запущенный дом на противоположном углу улиц Гоголя и Сабанеева моста. Говорили, что до революции это был доходный дом, принадлежавший графу Толстому. Ему же, не известному мне графу, принадлежал и классический особняк, стоявший чуть дальше по улице Сабанеев мост. Ныне в особняке размещался одесский Дом

ученых, посещаемый не только учеными, но и окрестными детьми, потому что там устраивались новогодние елки и различные утренники, то есть веселые представления для детей.

Думаю, что в неизменном упоминании имени бывшего владельца дома, характерного для одесситов и намертво впечатавшегося в мою детскую память, сквозила ностальгия по ушедшим временам, но присутствовал и некий скептицизм по отношению к дням нынешним, а может быть, и смутная, подсознательная надежда на то, что старые добрые времена еще вернутся.

Мы с мамой поселились в бельэтаже, в огромной комнате. Хорошо помню, как восхищались взрослые: сорок метров, целых сорок! Еще долгое время цифра «сорок» ощущалась мной как нечто гигантское, гиперболическое. Излишне говорить, что эта комната, как и предыдущая, была в большой коммунальной квартире. Комната была красивая, квадратная, угловая, хотя, строго говоря, вместо угла было плавное закругление с большим окном. Еще два окна выходили на улицу Гоголя и на Сабанеев мост.

Солнце двигалось ежедневным маршрутом вокруг дома, от Сабанеева моста к улице Гоголя, и оттого весь день нашу комнату пронизывали его косые лучи. В лучах беспорядочно плясали пылинки, превращая световой поток в нечто материальное. Солнце освещало большой круглый стол в середине комнаты, старое продавленное кожаное кресло у стены рядом со старинным умывальным шкафом, широкую низкую мамину тахту и мою металлическую кроватку, забранную сеткой.

В тени, в простенках между окнами, стояли застекленные книжные шкафы темного дерева; их называли американскими. Стекла в деревянных рамах можно было поднять на петлях и вдвинуть внутрь шкафа в пространство между полкой и верхним обрезом книг. Рамы имели замки, и некоторые из них были заперты: на этих полках стояли книги, которые детям читать не рекомендовалось. Впрочем, и на незапертых полках книг было много. Четырех лет от роду я узнал буквы и научился читать. В то время я часто оставался дома один, когда мама уходила на работу. Было одиноко и страшно. Боялся я, что с мамой что-то случится и она больше никогда не придет. А я? Что же будет со мной? Часы, которые я проводил в одиночестве и в полной тишине, казались очень длинными. Игрушек у меня почти не было. Хорошо помню лишь пирамидку – вертикальный стержень, на который надевались разноцветные кольца с постепенно уменьшающимся диаметром – да кубики с буквами. Может быть,

поэтому чтение рано стало потребностью и страстью. Книги стали моими первыми и лучшими друзьями, а вернее сказать – первой любовью. Они стояли в шкафах ровными рядами, тяжелые тома в красивых переплетах с золотыми обрезами, изданные «Товариществом Маркс», Сытиным, Брокгаузом. Я любил держать их в руках, испытывая почти чувственное наслаждение от прикосновения к плотным, чуть пожелтевшим страницам, от шелеста шероховатой папиросной бумаги, прикрывающей гравюры, выполненные мастерами старых дней. Еще и сейчас книга для меня не просто источник информации, но синтетическое произведение искусства, некий masterpiece. Жирные пятна, загнутые страницы и другие следы оскорбительного небрежения любимыми спутниками моей жизни приводят меня в ярость. Как хорошо, что прогнозируемый распад империи Гутенберга произойдет за пределами моего существования.

В раннем детстве книги открыли мне необъятность мира, разбудили фантазию. Там, в этом мире, существовали феи и волшебники, принцы и нищие, дети капитана Гранта плыли на поиски отца, печальный Мцыри сражался с барсом и совершал подвиги отважный Руслан, разыскивая Людмилу. Воображение уносило меня в бурные моря, в темные леса Тюрингии и Шварцвальда, в ущелья Кавказа. Читать лежа запрещалось, но сколько замечательных часов я провел в одиночестве на маминой тахте с томами Жюля Верна, Пушкина, Лермонтова, с чудесно изданными сказками Гауфа и братьев Гримм! Моими близкими друзьями были отважный Дик Сэнд, чудак Паганель, благородный лорд Гленарван, таинственный капитан Немо. Олешины «Три толстяка» открыли мне пафос революционной романтики и подарили необыкновенное слово «кордегардия», в котором слышался звон шпор, лязг оружия, грохот тяжелых ботфортов. В то же время читалась и такая милая, насквозь старорежимная книжка, как «Маленький лорд Фаунтлерой». Помню, что этот маленький лорд мне очень нравился. Нравилось мне и то, что родители и их друзья называли меня этим именем.

Вероятно, это имя действительно подходило мне в детстве. Каким-то чудом уцелели несколько моих довоенных фотографий. С одной из них удивленно смотрит малыш примерно трех лет, в темной блузе с большим светлым бантом, большелобый, с белокурыми локонами и огромными, широко раскрытыми светлыми глазами. Вполне подходящая модель для портрета кисти Ван Дейка или Гейнсборо.

Дети известных людей почему-то интересуют публику. Как говорят, в те годы я также был популярной личностью в Одессе. Симпатичный малыш в образе благовоспитанного маленького лорда льстил отцу. Его старший сын, мой несчастный сводный брат, которому в детские годы пришлось делать трепанацию черепа, считался не очень удачным ребенком.

К сожалению, благовоспитанность под напором естественных чувств время от времени отступала. Хорошо помню домашний обед, главным блюдом которого была утка с яблоками. Я сидел за столом в своем высоком стульчике и чинно обгладывал ножку, которую позволялось есть руками, поскольку, как известно, так делала даже английская королева. Было ужасно вкусно. Настолько вкусно, что, когда мама вышла на кухню, я залез на стол и, обжигаясь, погрузил руку в фарфоровую миску, пытаясь ухватить кусочек побольше. На этом я и был застигнут мамой и позорно изгнан из-за стола.

Хорошему тону я постепенно и незаметно учился у своих родителей, перенимая их отменные манеры и стараясь подражать им. Нравоучений не было, иногда короткой реплики было достаточно, чтобы помнить всю жизнь. Однажды, когда я сидел, положив ногу на ногу и обхватив коленку обеими руками, мама сказала: «Убери руки. Так сидеть некрасиво».

Поза была удобной, и расставаться с ней было жаль. С тех пор прошло больше семидесяти лет, в нынешнюю эпоху хорошие манеры стали анахронизмом, однако какой-то внутренний тормоз, может быть – память о матери, не позволяет забыть о полученных в детстве уроках.

Годам к пяти я был неплохо воспитанным мальчиком. Во всяком случае, в этом возрасте я уже вел себя за столом достаточно пристойно, чтобы не оконфузиться в ресторане. По случаю выигранного процесса и, очевидно, полученного гонорара мама отправилась со мной обедать в ресторан знаменитой гостиницы «Красная». Мне был повязан новый бант на шею, и мы отправились пешком через залитый солнцем Сабанеев мост, перекинутый над спускающейся в порт дорогой, прошли мимо музыкальной школы знаменитого Столярского, где учились одесские вундеркинды, будущие лауреаты всевозможных конкурсов и премий, мимо дома, где жил отец, о чем я узнал значительно позже, вышли на площадь имени Карла Маркса, откуда открывался вид на море и на Дюка, то есть на памятник основателю Одессы герцогу Ришелье, и зашли по дороге в парикмахерскую, чтобы привести меня в достойный вид.

Парикмахерская встретила нас потемневшими от времени зеркалами, доисторическими пыльными пальмами в кадках и густым запахом одеколона. Меня усадили в кресло, или, вернее, на устроенную в кресле скамеечку, ибо я был слишком мал, а телескопических кресел в те времена в Одессе не существовало, и мама сняла с меня туфельки, чтобы я не пачкал кресло ногами.

– Вот здесь и здесь, – сказала мама, нежно прикасаясь к моему затылку теплой ладонью, – здесь лишнее, но коротко не стригите, пожалуйста.

– Бороду пока не бреем? – спросил парикмахер, щеголяя изысканным одесским остроумием.

– Пока нет, – улыбнулась мама, – но мне потом побреете шею. В качестве бесплатного приложения.

Я молчал, потрясенный величием этого громадного человека в белом халате, похожего на зубного врача, который недавно пребольно ковырялся в моих зубах.

Стрекотала машинка, ножницы лязгали, голова моя послушно поворачивалась в жестких парикмахерских руках, белокурые локоны медленно падали на накидку, а потом мне было велено зажмурить глаза, и на меня обрушились колючие струи одеколона.

Немного ошалевший от этой процедуры, я смотрел, как парикмахер подбривал маме шею. Мама носила короткую стрижку, это молодило ее и шло к ее стройной фигуре женщины, игравшей в лаун-теннис. Потом мы шли по улице Карла Маркса, бывшей Екатерининской, поток людей, знакомых и незнакомых, обтекал нас, мы прошли через сад Пале-Рояль и наконец подошли к гостинице.

Удивительно и странно, как память долгие десятки лет удерживает незначащие реплики, мелкие события детства, которые когда-то неизвестно почему поразили детское восприятие и теперь дороги лишь тем, что помогают воображению перенестись в те далекие блаженные времена. Я помню твердый, неудобный для меня ресторанный стул, ослепительно-белую накрахмаленную скатерть и такую же салфетку, которую мама засунула мне за ворот, помню вкус горячей сочной котлеты, картофельного пюре и горчицы, которую я увлеченно добывал из фарфорового судка. Но я почти не помню живого лица моей матери, которую потерял, едва мне исполнилось восемь лет.

Сохранилось лишь несколько фотографий – непрофессиональных, любительских карточек тридцатых годов. На них изображена довольно еще молодая женщина с милым, немного грустным лицом. Люди, знавшие маму, говорили, что фотография плохо отражала оригинал, как это часто бывает, когда красивое, живое лицо нефотогенично. В эти годы мама уже приобрела имя в адвокатуре, ее начинали приглашать для участия в процессах в другие города, а я во время ее отлучек поступал на попечение дедушки и бабушки.

Дедушка Яков до революции служил в банке, бабушка Дина, естественно, была домохозяйкой. Революция не внесла в их жизнь никаких перемен, если не считать того, что банк стал государственным, жалованье, обеспечивавшее безбедную жизнь, превратилось в скудную советскую зарплату, а дом, или, вернее, просторная квартира, на бывшей Ришельевской улице превратилась в жилплощадь размером в две небольшие комнаты, составляющие лишь небольшую часть той же квартиры, где в результате уплотнения нетрудового элемента поселилось еще много разных людей.

Не знаю, каким был дедушка служащим, но домохозяйкой бабушка была идеальной. Паркетные полы были натерты воском до невозможного блеска, куриные бульоны с клецками и лимоном, курица под белым соусом, тефтели в томате – все это было очень аппетитно и вкусно. Но сказать правду, это было единственное, что запомнилось. Возможно, не было тепла. И вероятно, большого внимания тоже. Во всяком случае, именно в этом доме я разбил себе лоб о косяк шкафа, раскатившись на паркете, как на ледовой дорожке. Кровь залила лицо, я ревел от боли и испуга, возникла жуткая суматоха, испугались, не задет ли глаз, но все обошлось, и лишь шрам над переносицей остался пожизненной памятью о происшествии. Шрам, да еще застрявшие в памяти слова бабушки: «Что я скажу Лиле!»

Лилей в семье звали маму, и отношения у нее с родителями были сложные еще с детских лет. Мама была старшей дочерью, а ее сестра Элеонора, Нелли, была моложе на восемь лет. Вероятно, как это часто бывает, младшей дочери доставалось больше родительской любви и ласки. Кроме того, говорят, бабушка молодилась и предпочитала появляться на людях с младшей дочерью. Видимо, некий душевный дискомфорт и заставил маму рано уйти из дома и попытаться создать свою семью.

Мамина сестра Нелли еще долго жила с родителями, а потом неожиданно вышла замуж за агронома с соответствующей профессии фамилией Яровой и уехала с мужем почему-то в Ленинград. Я смутно помню ее мужа, дядю Федю, немолодого, крупного мужчину с совершенно голым черепом. Однажды летом дядя Федя и тетя Нелли приехали в Одессу и привезли с собой мою двоюродную сестру Оксану, пухленькую девочку младше меня на два года.

Помнится, этим летом было мне четыре года, и я впервые почувствовал стыд. Мы жили на даче, на восьмой станции, и как-то раз, по дороге на пляж, я устроил скандал, отказавшись купаться и загорать без трусиков. Уговоры не помогали, я упал на дорогу в пыль и вопил, что дальше не пойду. Солнце жгло немилосердно. Я сквозь слезы смотрел снизу вверх на свечи пирамидальных тополей, на огромных безжалостных людей, окружавших меня, и на маленькую сестричку, флегматично обсасывающую свой палец.

– Дай паршивцу шлепка, – ласково посоветовала тетя Нелли.

– Делать нечего, – вздохнула мама, – придется вернуться и взять запасные трусики.

Мы с мамой пошли обратно на дачу. Я все еще всхлипывал.

– Если ты уже действительно большой, то плакать стыдно, – сказала мама.

– Стыдно ходить голым, – заикаясь от слез, ответил я.

Это лето запомнилось и нелепым эпизодом. Однажды вечером на террасе сидели гости, а я скучал в одиночестве и ел алычу. На меня никто не обращал внимания. Это было обидно и непривычно. С горя я начал есть алычу с косточками, хотя и помнил наставления матери о том, что их надо выплевывать, иначе косточки застрянут в животе и может случиться заворот кишок. Что это такое, я, конечно, толком не знал, но, видимо, что-то ужасное. Проглотив несколько косточек, я побежал к маме и доложил, что у меня скоро будет заворот кишок. Началась паника. Я снова стал центром мироздания. Призвали доктора – пожилую даму, жившую по соседству. Был ощупан живот, где странствовали таинственные косточки, никак не выдавая своего присутствия. Консилиум из заскучавших гостей под руководством доктора решил немедленно кормить меня некой обволакивающей субстанцией, а именно – картофельным

пюре и в больших количествах. Мама приступила к делу, гости постепенно разошлись, и мы остались вдвоем. Остаток вечера я, давясь, поглощал пюре, ночью, просыпаясь, прислушивался к своему животу, а наутро косточки оказались в горшке.

Все кончилось благополучно, и я так и не стал мальчиком, у которого случился заворот кишок. Впрочем, я не слишком огорчился. Болеть я не любил.

Но болеть все же иногда приходилось. Как все дети, я переболел ветрянкой и скарлатиной. Помню себя в постели с затуманенным от жара сознанием и отца, сидящего рядом и читающего вслух сказку о попе и работнике его Балде. Читал отец хорошо, и было приятно слушать его голос, доносящийся как бы издалека, и чувствовать на своей ладошке его большую прохладную руку.

Через неделю, выздоравливая после скарлатины и слоняясь на коммунальной кухне, я услышал, как соседка, глядя в окно, сказала маме:

– Вот идет Яков Борисович с женой.

Мама промолчала. Промолчал и я. Потом, уже в комнате, я спросил у мамы:

– Разве у папы две жены?

– Да, – ответила мама, – у папы две жены.

Ответ был краток, и как-то сразу стало понятно, что продолжать расспросы не следует. Но это была ошеломляющая новость. Примерно до пяти лет я воспринимал как должное, что папа живет отдельно. Теперь стало понятно, что в этом есть какая-то тайна.

Впрочем, тайна не мешала жить. В детские годы воспринимаешь жизнь такой, какая она есть, не слишком раздумывая над ее сложностями.

## Я стану танкистом

В конце 1939 года началась война с Финляндией. Помню какие-то обрывки разговоров о возможных бомбежках, о затемнении, но Одесса была слишком далека от театра военных действий, чтобы почувствовать, что такое война. Тем не менее воинственный дух овладел детьми. Зима запомнилась бесконечными играми в войну, где каждый из нас, малышей, был главным командиром – Ворошиловым, Чапаевым или Буденным, других героев мы не знали. Не менее ярким событием этой зимы было появление в нашем доме ящика мандаринов, привезенного из Грузии маминым подзащитным – капитаном дальнего плавания. Перипетии процесса мама обсуждала дома с отцом, и я любил слушать разговоры взрослых. Судно, которым командовал капитан, село на мель в Черном море, капитана отдали под суд, но мама сумела доказать его невиновность. Таким образом, мандарины не только украсили наш скромный стол, но и явились неким символом торжества справедливости.

Но все отступило на задний план, когда однажды, накануне дня моего рождения, мама вкатила в комнату настоящий, роскошный, блестящий хромом и никелем двухколесный велосипед.

– Это мне? – прошептал я, боясь поверить неслыханному счастью.

– Конечно, – сказала мама и громко позвонила в звонок, укрепленный на руле, – это тебе подарок. Ведь тебе исполняется шесть лет. Скоро станешь взрослым.

Я попытался сесть на велосипед и тут же упал, больно стукнувшись коленкой. Мама необидно засмеялась.

– Надо немножко поучиться. До весны уже недалеко.

До весны ждать было невозможно. Я учился ездить в комнате, вокруг стола. К весне я уже был заправским велосипедистом и лихо мчался по тротуарам, оглушительными звонками распугивая прохожих. Коронным номером было разогнаться, положить ноги на руль и стремглав лететь к Сабанееву мосту в сторону лестницы, спускающейся к дороге в порт. Перед самой лестницей, как можно ближе к ней, надо было круто свернуть влево и выехать на мост. Опасный аттракцион. Опасный, потому что лестница была крутая и длинная, и на секунду опоздать с поворотом означало переломать себе кости. Однажды это увидела мама и пригрозила отнять велосипед.

Велосипед был зримым признаком относительного благосостояния, с некоторых пор пришедшего в наш дом. К лету в семье появилась домработница Дуня, толстощекая румяная деваха, с которой мы выехали на дачу. Дача располагалась на одной из станций Большого Фонтана, среди безбрежных виноградников, где мы, дети, играли в прятки. Незабываемые, счастливые дни. В знойный полдень, когда редкие облака, словно манная каша, размазаны по голубой клеенке неба, лежишь, запрокинув голову, под виноградной лозой, и крупные, уже наливающиеся сладостью ягоды, тяжелые плотные кисти, почти касаются твоего лица, дразнят разгорающийся аппетит. Где-то неподалеку раздаются голоса. Тебя ищут. А ты перебираешься от куста к кусту, срывая по дороге еще неспелые, немного терпкие ягоды.

В то лето на даче бывало много гостей. Иногда, не слишком часто, приезжал отец, щегольски одетый, несмотря на жару всегда в пиджаке и галстуке.

– Тебе не жарко? – удивлялся я.

– Привычка – вторая натура, – отвечал он, улыбаясь. – Помню, лет сорок назад, когда я еще был мальчиком чуть постарше тебя, к моему отцу, твоему деду, летом приехал по делу какой-то англичанин. Однажды отец повез его кататься на лодке и взял меня с собой. В лодке англичанин снял пиджак и остался в подтяжках. Я был шокирован: это было неприлично. Все равно что остаться на людях в нижнем белье.

– А что это такое – неприлично? – спрашивал я.

– Это нарушение некоторых условностей, принятых в обществе. Сейчас, видишь ли, все упростилось. Раньше, например, приличный человек никогда бы не вышел на улицу без шляпы. Допускалось, правда, в сильную жару снять шляпу или канотье и нести в руке.

– Не очень-то это приятно – быть приличным человеком, – заявлял я и отправлялся играть в казаки-разбойники.

В эти летние дни было много разговоров о близости войны. Где-то неподалеку стояла кавалерийская часть, и время от времени к нам на дачу доносился глухой топот копыт. Иногда днем, когда мама была в городе, к Дуне приходил кавалер – великолепный молодой военный в гимнастерке с красными кубиками в петлицах.

Он легко взбегал на крыльцо, звякая шпорами и придерживая шашку, бившуюся о черные голенища сапог. Шашка отстегивалась и вручалась мне. Я осторожно вытягивал ее из ножен, разглядывал грозную сталь клинка и пытался взмахнуть им над головой. Эфес был слишком велик для моей детской руки, и шашка тяжела. Военный пил чай на террасе, я сидел у него на коленях, восхищаясь запахом новенькой кожаной портупеи и осторожно трогая тяжелую кожаную кобуру, в которой был настоящий наган.

Военная тема прочно вошла в наши детские игры. Это было неудивительно: все вокруг дышало войной. Быстро примелькались новые слова: Халхин-Гол, самураи, линия Маннергейма. Детские книжки, газеты, журналы, радио взахлеб рассказывали о подвигах красноармейцев, о боях в Испании и Китае. Мы полюбили играть в войну. Это было очень весело. Нам нравилось непонятное японское слово «банзай». Весело было с воплем «банзай!» наступать на противника, размахивая шашкой, вырезанной из тополиной ветки. Весело было и затаиться в кустах, в засаде, удерживая смех, когда противник – мальчишки с соседних дач – пробегал мимо. Веселая штука – детство.

В ноябрьские праздники в Одессе был военный парад. Недалеко от нашего дома на улице среди толпы стояли танки. Люки были открыты, танкисты в шлемах, высунувшись по пояс, перебрасывались шуточками с женщинами. Мама поставила меня на броню.

– Хочешь быть танкистом? – спросил меня темнолицый богатырь в черном комбинезоне. – Полезай в танк.

Он легко подхватил меня под мышки и опустил в башенный люк. В танке было сумрачно, пахло разогретой кожей и еще чем-то непонятным, может быть – порохом. Я замер от восторга. Усатый танкист обнял меня за плечи.

– Тебя как звать, хлопец? Миша? Бачишь, Мишка, це пушка.

Я осторожно положил руку на холодный металл.

– Это называется затвор, – сказал усатый, – сюда снаряд заряжают.

– Я когда вырасту, стану танкистом, – обещал я.

– Ну расти скорей, – захохотал усатый, – а сейчас прыгай до мамки.

Сильные руки вытянули меня из танка. В толпе играла гармонь, и чьи-то резкие голоса пели популярную песню:

Три танкиста, три веселых друга —

Экипаж машины боевой.

## Я живой

Незаметно подошел 1941 год. Мне исполнилось семь лет, и осенью меня собирались отдать в школу. Зимой я получил роскошную обновку: где-то по знакомству была куплена шубка, крытая черной жеребячьей шкурой. Мама сшила себе красивое демисезонное пальто, коричневое, с воротником, широкие углы которого были оторочены коричневым каракулем, по форме напоминающим петлицы на военных шинелях. Пришло лето, наступила жара, и мы, как всегда, выехали на дачу. Пошла веселая безмятежная дачная жизнь.

Однажды поздним воскресным утром мы сидели на террасе за завтраком; я доедал яичницу, запивая какао, и слушал, как наверху, где-то на растущей рядом шелковице, оживленно переговаривались птицы. В этот момент распахнулась калитка, и на дачу ворвалась пожилая соседка.

– Вы что, ничего не знаете? – задыхаясь, прокричала она, подбегая к террасе. – Война!

Я обрадовался: кончились игры, пришло время подвигов!

– Быстро доедай, – сказала мама. – Надо бежать в магазин.

У магазина уже стояла гигантская очередь. Очередь подвигалась быстро: полки были почти пустыми, как и в предыдущие дни. Лишь громадные пирамиды консервов из дальневосточных крабов, которые в те времена почему-то не считались деликатесом, украшали витрины. Но теперь расхватывали все.

На даче стало жить трудно. Мы вернулись в город. Стал налаживаться военный быт. Вышел приказ о сдаче радиоприемников, и граждане заспешили в пункты приема. Пришлось и нам расстаться с приемником – грубоватой деревянной коробкой с динамиком, затянутым матерчатой сеткой. Если не ошибаюсь, эта модель называлась «СИ»: вероятно, это были инициалы вождя. Теперь мы были избавлены от вражеской пропаганды, все новости поступали из черной зловещей тарелки громкоговорителя, да и новости были чернее тучи.

По вечерам город погружался в черный беспросветный мрак. Дворники бдительно следили за тем, чтобы ни полоски света не пробивалось из окон. Затемнение должно было сбить с толку вражеских летчиков. Повесили глухие темные шторы и мы с мамой. Окна были оклеены крест-накрест бумажными лентами, чтобы от взрывов не вылетали стекла. Город начали бомбить. Как водится, поползли разговоры о шпионах, которые фонариками указывают фашистам цели. Одна из первых бомб попала в большое здание ломбарда напротив нашего дома. Бомба пробила крышу, проникла в хранилище ковров и не взорвалась. Бомбили по ночам: сначала слышался самолетный гул, доносились разрывы зенитных снарядов, затем раздавался оглушительный нарастающий свист и взрыв. Черное небо полосовали прожекторные лучи. Иногда в них попадал крохотный, почти игрушечный самолетик. Вырваться из луча ему уже не удавалось.

В семь лет опасность ощущается слабо. Я привык к ночному фейерверку, быстро засыпал и спал мертвым сном. Однако опасность была немалая. Мы жили в районе, примыкающем к порту, который бомбили особенно интенсивно. Бомбоубежища в доме и поблизости не было. Поэтому мама решила вернуться на дачу.

Дачную местность не бомбили. Но праздничная безмятежность дачной жизни уже исчезла. Дачи стали пустынными: молодежь была призвана в армию, одесситы прервали отпуска, гости разъезжались по домам.

В саду была вырыта щель. Так называлась длинная и глубокая, в человеческий рост, траншея с вертикальными стенами, куда полагалось прятаться во время налетов. В торце щели в грунте были утрамбованы ступеньки. Однажды днем объявили воздушную тревогу, и все находившиеся поблизости дачники сгрудились в пахнущей сырой глиной щели. Слышался гул самолетных моторов, но бомбежки не было.

– Смотрите, смотрите, воздушный бой! – закричал мой сверстник и сосед, мальчик Витя.

Все запрокинули головы. Высоко в безоблачном небе кружили и играли в догонялки крохотные самолетики. Время от времени раздавался пулеметный треск. Смертельная игра казалась с земли захватывающим аттракционом.

Я вылез из щели, чтобы лучше видеть и не пропустить момент, когда наши собьют фрица. Два самолета отвалили от группы и потянулись в сторону. Ударили зенитки. Вдруг что-то просвистело рядом с ухом и шмякнулось на землю. Я нагнулся и поднял осколок. Он был еще горячий. Мне кажется, я и сейчас отчетливо вижу этот сероватый, отливающий синевой зазубренный кусочек металла величиной с палец взрослого человека – вероятно, осколок зенитного снаряда. Недетская мысль о том, что я был на волосок от смерти, поразила меня. Я положил осколок в карман и молча сбежал по ступенькам в щель.

Вечером мама приехала из города. Мы поужинали, мама согрела воду на керосинке и велела мне вымыть ноги перед сном. Из кармана штанишек выпал осколок.

– Что это? – спросила мама.

– Железку нашел, – ответил я.

– Вечно ты какую-то гадость в карманах носишь, – проворчала мама.

Я всхлипнул и прижался к ней. Мама была теплая, и я был живой. Я еще не видел мертвых, но знал, что они никогда, никогда не возвращаются.

– Ты что? – удивилась мама, – Обиделся?

– Нет, – сказал я и заплакал.

Ночью мне приснилось что-то страшное, я проснулся и долго не спал, слушая легкий шелест акации за открытым окном. Ночной бриз нес запах моря и шевелил занавески на окне. Комната то освещалась серебристым лунным

светом, то снова погружалась в черноту ночи. В эту тихую летнюю ночь я впервые в своей короткой жизни думал о том, как легко убить человека.

Между тем надвигалась осень, фронт приближался, и мы снова переехали в город. На стенах домов появились плакаты: «Одесса была, есть и будет советской». Одесситы, умеющие правильно читать советские лозунги, поняли, что враг скоро войдет в город. В повседневный лексикон прочно вошло новое слово – «эвакуация». В середине августа Одесса была отрезана и осталась за линией фронта, покинуть осажденный город можно было только морем. Тем, кто успел уехать до того, как кольцо окружения замкнулось, повезло. Теперь попасть на уходящий транспорт считалось удачей. Маме достали билеты на теплоход «Ленин», но она колебалась: ехать в неизвестность с ребенком, одной было страшно. Отец со своей семьей и восьмидесятилетней матерью оставался, мамины родители тоже.

Почему большинство одесских евреев не покинуло город своевременно? У каждой семьи были свои мотивы. Кто-то, доверяя пропаганде, считал, что Одессу врагу не сдадут. Скептики полагали, что преследования евреев немцами – очередной миф советской власти. Люди помнили немцев, оккупировавших Одессу в 1918 году. Они вели себя спокойно, мирное население не трогали, евреев не истребляли. Предполагалось, что в город придет та же армия, что и двадцать три года тому назад. И скептики, и доверчивые энтузиасты страшились эвакуации – опасного и тяжкого путешествия неведомо куда. Некоторые, несомненно, втайне надеялись, что советская власть не вернется в Одессу никогда и постепенно наладится нормальная жизнь, которую еще не успели забыть.

Так или иначе, все близкие оставались в городе, и мама решила не ехать. Билеты были сданы, и «Ленин», перегруженный эвакуированным людом, ушел без нас. Через два дня в Одессе стало известно, что немецкие самолеты бомбили теплоход «Ленин» в открытом море и он пошел ко дну. Погибли почти все, многие сотни людей, в том числе и друзья нашей семьи.

## Оказывается, мы евреи

А 16 октября канонада на подступах к городу стихла, и в город вступили немцы. Мы с мамой молча стояли у окна и смотрели, как от Сабанеева моста к улице Гоголя по середине мостовой маршировала немецкая колонна. Солдаты были серо-зеленые, в касках, с еще не виданными нами автоматами. Улица была пустынна, лишь какие-то женщины, выскочившие из подворотни, бросили солдатам цветы. Колонна свернула на улицу Гоголя и скрылась из виду. Грохот сапог смолк, и стало невероятно тихо.

Так началась жизнь в оккупации и кончилось обыкновенное детство.

Очень скоро я узнал, что мы евреи. Было непонятно, что это означает, но ясно было одно: это тайна и, если не хочешь погибнуть, эту тайну надо хранить.

– Хорошо, что я не дала сделать тебе обрезание, – сказала мама. – Мне было жалко тебя мучить.

И мама объяснила мне, что это значит.

Однажды холодным осенним утром жизнь страшно перевернулась. В дом пришли два молодых русских полицейских и забрали меня и маму, позволив взять лишь чемоданчик с самыми необходимыми вещами. Полицейские привели нас в школу, ту самую, куда я собирался поступить этой осенью. Нас отвели в большую комнату, где стояли еще никогда не виданные мной парты, и заперли на ключ. Вот это и был мой первый школьный день и начало постижения того, что называется жизнью.

Время тянулось медленно, мы сидели с мамой за партой, мама обнимала меня за плечи и успокаивала рассказами о том, как будет хорошо, когда кончится недолгая война, и я приду в этот класс и буду сидеть, может быть, даже за этой партой, и учительница вызовет меня к доске, и я буду писать мелом на доске, отвечая урок, как это делают все дети во всех школах во все времена.

За окном стемнело, хотелось есть, и мама дала мне взятый из дома бутерброд.

В коридоре послышались голоса, шаги, дверь отворилась, и полицейский, уже другой, немолодой, с лицом тяжелым, как боксерский кулак, кивнул нам:

– Выходите.

Нас отвели по темной лестнице куда-то вверх, и мы очутились в маленьком коридорчике перед дверью, обитой черной клеенкой. Тускло светила маленькая лампочка. По коридорчику ходил взад и вперед пожилой румынский солдат.

– Останься здесь, – сказал мне полицейский и вошел с мамой в черную дверь.

Я сел на стул у стены. Было страшно. Солдат смотрел на меня.

– Юде? – спросил солдат.

Я уже знал, что это такое, и неопределенно помотал головой. Солдат вздохнул и полез в карман. Из кармана появился кусок рафинада. Солдат протянул его мне. Есть не хотелось, но было неудобно, и я положил его в рот. Сахар наполнил мой рот сладостью, но горький страх не прошел.

Черная дверь отворилась, и полицейский, взяв меня за плечо, подтолкнул вперед. Я вошел в небольшую, ярко освещенную комнату, где за столом сидел молодой офицер в румынской форме. В углу у стены рядом с дверью почему-то стояла высокая деревянная лестница. Мама сидела у стола.

– Подойди сюда, мальчик, – сказал офицер на чистом русском языке.

Я подошел к столу. На столе стояла лампа под зеленым, очень домашним абажуром, несколько листочков бумаги были придавлены черным пистолетом.

Офицер рассматривал на просвет мамин паспорт, определяя, имеется ли подчистка в графе «национальность».

– Оставьте меня с мальчиком, – сказал офицер полицейскому.

Полицейский вывел маму из комнаты.

– Послушай, – сказал офицер, – не надо скрывать, что ты еврей. Мне ведь все известно. Тебя же, наверное, учили говорить правду.

– Я не еврей, – ответил я.

– Почему ты боишься сказать правду? – мягко спросил офицер. – Мы не делаем евреям зла. Просто на время войны все евреи должны переехать в другое место. Таков приказ. Смотри.

Офицер взял пистолет, вынул обойму и показал мне. Желтые патроны, плотно пригнанные друг к другу, золотились на свету.

– Если ты не скажешь правду, мне придется тебя застрелить. Видишь этот верхний патрон? Когда я выстрелю, он будет здесь.

Офицер постучал костяшками пальцев по моему лбу и со щелком вогнал обойму обратно в рукоятку пистолета.

– А куда же вы нас отвезете? – спросил я.

– Мы отвезем вас в хорошее место, где не будут бомбить. Там будет спокойно. До конца войны. Сейчас я позову твою мать.

Вошла мама и стала у двери, прислонившись к лестнице.

– Вот видишь, – сказал офицер и улыбнулся, обнажив золотые зубы, пригнанные друг к другу, как патроны в обойме, – мальчик мне все сказал.

– Неправда! – воскликнула мама. – Что ты сказал?

– Скажи ей, – кивнул мне офицер, – мы же договорились.

– Мамочка! – закричал я. – Нас не убьют, я сказал, что я еврей, и нас просто отвезут в другое место.

– Значит, ты не мой сын! – отчаянно закричала мама и стала белая как стена.

– Мамочка… – заплакал я.

Офицер улыбался.

– Отведи их, – бросил он полицейскому, стоявшему в дверях.

Нас отвели в другой класс, где было много народу: женщины и дети. Мама тяжело молчала.

Наступила ночь. Я задремал, положив голову маме на колени. Резкий толчок разбудил меня. Мама поднимала меня на руки. Люди ломились к выходу.

– Что случилось? – забормотал я.

– Кажется, пожар, – ответила мама, прижимая меня к себе и пробиваясь к дверям.

Толпа вывалилась на лестницу, заполненную едким дымом. Люди с детьми на руках, обезумев, давили друг друга. Слышались стоны.

– Мамочка, я не хочу умирать, – прошептал я.

Толпа монолитной массой, превратившись в гигантское бессмысленное чудовище, медленно сползала по лестнице вниз. Солдаты, стоявшие у подножья лестницы, едва сдерживали напор. Сверху я увидел вестибюль, где несколько солдат топтали сапогами горящие и дымящиеся тряпки. Больше нигде огня не было. Паника погасла. Люди постепенно приходили в себя. Мы вернулись в класс, и я снова заснул.

Ранним утром всех вывели на улицу и построили в колонну. Колонна была длинная и растянулась на целый квартал. Моросил мелкий противный дождик. Мы молча шли, охраняемые солдатами, по середине мостовой под взглядами нечастых прохожих. Шли долго, через весь город, и подошли к железным воротам в красно-кирпичной стене. Это была городская тюрьма. Ворота с лязгом растворились, и колонна втянулась в тюремный двор.

Те, кто читал «Крошку Доррит» и помнит описание долговой тюрьмы Маршалси, могут попытаться представить себе множество людей, живущих каким-то странным бытом в стенах, за пределы которых выйти невозможно, но внутри их

пользующихся относительной свободой. Я плохо помню те несколько дней, которые мы провели в тюрьме. Помню скученность, добывание кипятка, тяжелый ночной сон в коридоре на каком-то сундуке. Помню неожиданную встречу в тюремном дворе с Витей, товарищем, с которым мы играли на даче в войну.

Память об этих днях ушла куда-то в глубину, в подсознание, и своеобразно выплеснулась наружу двадцать лет спустя. Я еще расскажу об этом в другом месте.

Невозможность вспомнить и подробно рассказать об этих последних днях многих тысяч людей тем более печальна, что я, быть может, единственный или уж по крайней мере один из очень немногих уцелевших, избежавших ужасной участи, уготовленной евреям, согнанным в одесскую городскую тюрьму. Люди, среди которых я прожил эти несколько дней, были заживо сожжены в каких-то бараках под Одессой.

## Вмешивается мойра

Чудо, как всегда, произошло неожиданно. В один действительно прекрасный день маму куда-то вызвали. До сих пор не понимаю, как в этом беспорядочном скопище людей можно было быстро отыскать человека. Тем не менее это случилось, и очень скоро мама вернулась. Ее глаза сияли, и она снова была молодой и красивой, как недавним летом.

– Собирайся, – шепнула она мне, – мы выходим на свободу.

Собираться было недолго. Стараясь не смотреть в глаза остающимся, мы вышли из здания и через несколько минут подошли к воротам. В проходной нас ждала женщина, пожилая, грузная, с седеющими встрепанными волосами. В руке она держала листок бумаги. Это было разрешение на выход из тюрьмы Ольге Яковлевне Барановской и ее сыну.

Так в мою жизнь вошла Мария Михайловна Кобозева.

Как и где получила она эту спасительную бумагу? Я этого не знаю и уже никогда не узнаю. Так же, как никогда не узнаю, что связывало ее с мамой и почему она пришла нам на помощь. Понимаю только одно: этой удивительной женщине, ее доброте, ее безрассудной смелости и неподражаемому нахальству я обязан жизнью.

За воротами нас ждал извозчик. Мы погрузились в пролетку и поехали прочь. В пролетке пахло кожаной сбруей и лошадиным потом. Я сидел рядом с мамой на потрескавшемся, выбеленном от старости клеенчатом сиденье и разглядывал улыбающееся лицо Марии Михайловны, сидевшей напротив нас, спиной к извозчику. Лошадь бежала резво. Булыжная мостовая неслась навстречу. Пролетка мягко покачивалась на рессорах.

Следует сказать, что на извозчике я ехал впервые в жизни. Этот ископаемый вид городского транспорта возродился в Одессе только после начала оккупации. Но, конечно, не лошади задавали тон на улицах оккупированного города. Проносились сверкающие автомобили «Хорьх» с важными немецкими офицерами внутри. Неторопливо двигались странные тупорылые итальянские грузовики с кабиной, нависающей над передними колесами. Улицы приобрели какой-то новый, почти заграничный вид. Уже мелькали вывески частных магазинов, в толпе выделялись военные в немецких, румынских, итальянских мундирах, появились респектабельные мужчины, сменившие пролетарские кепки на вынутые из нафталина дореволюционные котелки. На одном из перекрестков открылся вид на площадь, в центре ее стояло еще не виданное мною сооружение – виселица. Ветер покачивал на высокой перекладине три тела со склоненными набок головами. На груди у них висели таблички. Пролетка резко свернула и понеслась дальше.

Теперь Одесса управлялась румынской администрацией и была центром Транснистрии, то есть Заднестровья. Очевидно, после ожидаемой в ближайшее время победы над Советским Союзом эта территория должна была окончательно отойти к Румынии. А пока здесь был создан военный округ, командующим которым был назначен генерал Георгиу, с которым я однажды повстречался в приватной обстановке. Генерал был весьма импозантен и потрепал меня мягкой генеральской ладонью по стриженой неарийской голове.

Но это произошло значительно позже, а пока извозчик привез нас в клинику, где главным врачом был Иван Алексеевич Кобозев, муж Марии Михайловны. Большая семья Кобозевых приютила нас у себя, потому что возвращаться на улицу Гоголя

было равносильно самоубийству.

Здесь самое время рассказать о семье, в которой я прожил больше двух лет в страшное время оккупации.

Иван Алексеевич был известным в городе профессором-окулистом, коллегой знаменитого Филатова. Смутно вспоминаю, что еще до войны мы с мамой бывали у Кобозевых дома и Иван Алексеевич лечил меня от блефарита, то есть смазывал какой-то желтой, кажется ртутной, мазью веки, на которых у меня время от времени образовывались белые корочки.

Это был высокий, всегда подтянутый красивый мужчина лет шестидесяти или немного старше, барственный, неторопливый в движениях, с крупными простыми чертами лица и густыми, совершенно белыми волосами, гладко зачесанными назад. Сколько я помню, он был немногословен и не склонен к сантиментам. Пожалуй, это был совершенный образец старого, дореволюционного профессора, уверенного в себе и внушающего доверие пациентам.

Как это часто бывает, Мария Михайловна была его полной противоположностью. Шумная, порывистая, по-одесски изобильная телом и какой-то космической энергией, она занималась домом и, как я думаю, разнообразными коммерческими гешефтами. Ее неустрашимость в общении с новыми хозяевами города, от солдата до генерала, доходила до какой-то сверхъестественной наглости. Наглость была тем более удивительной, что, как я узнал значительно позже, Мария Михайловна была крещеной еврейкой.

У четы Кобозевых было восемь детей: его дети от первого брака, ее дети от первого брака и общие дети. В то время с семьей жили две дочери: старшая – Татьяна, молодой врач-венеролог, с двухлетним сыном Толей – и младшая – Наташа, красивая белокурая восемнадцатилетняя девушка, постоянно конфликтующая с матерью и называющая ее мутершей. Кроме того, в семье жил внук Вова, мальчик моих лет. Известно было, что родители его жили где-то далеко на Урале. Впрочем, поскольку о них никогда ничего не говорилось, не исключено, что они были репрессированы.

Маленького Толю обихаживала жившая в семье няня, которую звали Мальвина. Это была рыхлая немолодая немка из колонистов – их было немало в Одессе и

особенно под Одессой, например в Люстдорфе, который после войны был без особого полета фантазии переименован в Черноморку. Своей принадлежностью к истинным арийцам Мальвина как бы уравновешивала национальную неполноценность семейства Кобозевых. Дело в том, что Татьяна выглядела типичной еврейкой, что я хорошо понял, увидев ее двадцать лет спустя, а отец Толи, врач, погибший на фронте в первые недели войны, был несомненный еврей с отчетливой еврейской фамилией.

Это ужасное обстоятельство было замаскировано фиктивным браком Татьяны с сыном давних друзей Ивана Алексеевича, племянником знаменитого Уточкина, одного из первых русских авиаторов. Уточкин, которого звали, если не ошибаюсь, Николай, в доме Кобозевых не жил, но часто появлялся, демонстрируя принадлежность к семье.

Несмотря на то что еврейство отдельных членов семьи было формально прикрыто, дамоклов меч раскрытия преступной тайны постоянно висел над Кобозевыми, ибо доброжелателей всегда немало. В этих условиях взять в свой дом еврейскую семью было не просто смелостью – было безрассудным благородством.

Все мы, семеро членов семьи Кобозевых и я с мамой, ютились в подвале одного из корпусов клиники, куда временно переехали Кобозевы из своей огромной квартиры, которую в эту зиму, видимо, было невозможно обогреть.

Зима 1941–1942 годов была ранней и лютой. Жестокость жизни словно была подчеркнута жестокими морозами. В память врезался хмурый день, низко летящие над городом облака, жесткий колючий снег, ущелья улиц между огромными белыми сугробами, заметенные снегом трупы замерзших людей, изредка встречающиеся по дороге темные фигуры редких прохожих с закутанными от мороза лицами. Куда мы с мамой шли в этот трескучий мороз? Что заставило нас покинуть теплый сыроватый подвал? Не помню.

Жизнь в основном проходила на территории клиники, за пределы которой я выходил очень редко. Питались все за общим столом, скудно. Заметное место в ежедневном меню занимала мамалыга – кукурузная каша, своеобразный символ воцарившейся румыно-молдавской цивилизации. Тепла и воды не хватало. Время от времени устраивали всеобщую помывку: грели ведра с водой и мылись по очереди на кухне. От холода и грязи завелись вши. Запомнились картины вечернего досуга: при тусклом свете керосиновой лампы обитатели подвала, и я

в том числе, ищут насекомых в складках и швах одежды и давят ногтями эту противную беловатую живность.

Однажды мама сказала мне:

– Одевайся. Пойдем прощаться с бабушкой и дедушкой.

Я ничего не понял.

– Они умерли, – коротко пояснила мама.

Я замолчал. С тех пор как в город вошли немцы, я ничего не знал о наших близких – ни о бабушке с дедушкой, ни об отце.

Мы прошли через больничный двор и оказались в каком-то одноэтажном корпусе, очевидно, в морге. В центре пустого зала, показавшегося мне громадным, на металлическом столе недвижно лежали на спине два знакомых мне тела: бабушка и дедушка. Дедушка лежал в нижнем белье, в теплых женских панталонах лилового цвета, бабушка была в капоте. Пронзительно белые лица их с закрытыми глазами были каменно спокойны.

Как избежали они общей участи одесских евреев, где прожили последний месяц, как попали в клинику, почему умерли в один день, словно персонажи сказки со счастливым концом, – я ничего об этом не знаю. Спросить не у кого. Могу только предполагать, что и их пытались спасти Кобозевы и что они покончили с собой, потому что жизнь казалась страшнее смерти.

Молча мы стояли перед покойниками. Мама беззвучно плакала. Ледяная недетская печаль сковала мое сердце, я впервые стоял перед телами близких людей, из которых ушла жизнь. Так вот, оказывается, каково некрасивое обличье смерти. Две безжизненные куклы, облаченные в нелепые одежды, вместо бабушки и дедушки, еще недавно державших меня на коленях и рассказывавших мне сказки. Простота и будничность ухода из жизни предстали передо мной в своей ужасающей наготе.

Не знаю, кто и где похоронил старых Якова и Дину Раппопорт. Смерть в эти времена, когда гибли десятки и сотни тысяч людей, перестала быть событием.

Вероятно, их могила, если и была устроена специально для них, не сохранилась.

Жизнь между тем шла своим чередом. К концу зимы подвальное существование окончилось. Мама начала работать помощником румынского адвоката, приехавшего из Бухареста и открывшего в Одессе свою контору. Мы покинули клинику и поселились на Молдаванке в небольшой комнате в коммунальной квартире. Квартира была небольшая, кроме нас жила еще одна семья – женщина с дочерью, подростком лет тринадцати. Я не знаю, как был организован переезд, но в комнате, к моей великой радости, оказались наши вещи и книги. Новой деталью интерьера была икона, повешенная в углу. Иисус ободряюще смотрел на меня, когда вечерами, перед сном, стоя на коленях, я в меру громко, чтобы слышали соседи, читал «Отче наш». Бесплотное слово «бог», которое я встречал уже в книгах, впервые обрело для меня некое материальное значение. Я представлял его в виде всемогущего и всевидящего старца, обитающего неведомо где и вместе со своим сыном Иисусом защищающего хороших и добрых людей от всяческих напастей. Очень хотелось верить, что Бог возьмет нас под свое покровительство.

Дни по большей части я проводил дома и, несмотря на разницу в возрасте, подружился с девочкой-соседкой. Девочка нравилась мне.

– Я женюсь на тебе, когда вырасту большой, – убежденно говорил я.

Девочка смеялась и кормила меня карамельками.

## Снова тюрьма

Идиллия продолжалась недолго: громкие молитвы не помогли, в начале весны нас арестовали как скрывающихся евреев.

Разумеется, автор доноса остался неизвестен. Из разговоров взрослых, да и впоследствии, возвращаясь мысленно к этим трагическим дням, я сделал для себя вывод, что донесла наша любезная соседка. Ведь это было так естественно: можно было совершенно спокойно, без всяких хлопот получить комнату и вещи, стать хозяйкой собственной или, как говорили в Одессе, самостоятельной

квартиры. В трудное военное время это было хорошим подспорьем, удачей, которой было грех не воспользоваться. К тому же все соответствовало законам Транснистрии: ведь евреев нельзя было скрывать, напротив, их надо было выявлять и передавать оккупационным властям.

Надо сказать, что тыловые румынские власти не проявляли особого рвения в вылавливании евреев, уцелевших от массовых казней. Выполнив основную грязную работу, они переключились на рутинные административные дела и коммерцию. Румынские офицеры говорили, что они и рады были бы закрывать глаза на то, что кое-где еще существуют отдельные представители этой вредной национальности, но на доносы они обязаны реагировать. А доносы, увы, были.

Во всяком случае, помнится мне, так рассказывала Мария Михайловна, а она, имевшая коммерческие дела с румынами, получала информацию, так сказать, из первых рук.

В этот раз нас привели уже не в школу, наскоро превращенную в подобие пересыльной тюрьмы. Новая власть обосновалась в городе, и полицейский участок удобно разместился там, где еще не так давно была советская милиция. Нас бросили в полуподвал, в большую общую камеру, где на двухэтажных нарах разместилось человек двадцать, мужчины и женщины, старики и молодые – довольно смешанное общество.

Мама тихо сказала мне:

– У нас документы в порядке. Нам помогут. Надеюсь, что мы отсюда выберемся.

Я успокоился и стал смотреть на окружающих с чувством жалости и некоторого превосходства.

Вечером в камеру вошел ражий детина. Тусклая лампочка осветила его грубое молодое лицо. Помахивая обрезком резинового шланга, он ткнул пальцем в седого небритого старика, сидящего на нижних нарах, и рявкнул неожиданно тонким голосом:

– Ты! Иди сюда!

Старик сполз с полки и вышел на середину камеры.

– Ложись и спусти штаны! – гаркнул парень.

Старик покорно лег на грязный цементный пол лицом вниз. Парень принялся избивать его резиновой дубинкой. Камера притихла, глухо слышались удары и тяжелое дыхание палача. Старик молчал. С верхнего яруса нар я с ужасом смотрел на эту сцену. Наконец парень устал.

– Гата, – разогнувшись, сказал он почему-то по-румынски, очевидно подражая своим хозяевам. Как по смыслу, так и по звукоподражанию слово было понятно: готово, кончено.

Детина ушел. Загремели запоры. Старик медленно поднялся и доплелся до нар. Арестанты молчали. Скоро камера погрузилась в сон. Заснул и я, прижавшись к маме.

Проснулся я от ощущения страшной пустоты: мамы рядом не было. Чернота ночи окружала меня. Лишь подслеповатая лампочка над дверью отбрасывала тусклое пятно света на грязный потолок. В полутьме на нарах громоздились темные очертания тел, слышался разноголосый храп, кто-то бессвязно бормотал во сне.

Как рассказать о переживаниях ребенка, которому едва исполнилось восемь лет и который остается ночью один в тюремной камере, набитой чужими людьми! Маленький и ничтожный, я чувствовал себя беззащитной пушинкой перед гигантской черной волной ужаса, готовой обрушиться и поглотить меня. Сжавшись в маленький дрожащий комочек, я лежал с широко открытыми глазами и ждал. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я услышал за дверью шаги. Сердце замерло. Шаги остановились у двери, замок заскрипел, дверь отворилась, в прямоугольнике света возник знакомый любимый силуэт. Позади маячил полицейский.

Мама. Даже в неволе, в застенке, где правит жестокая воля чужих, вооруженных людей, ты и только ты моя защита от безжалостно надвигающейся, чудовищной машины зла. Как хорошо, что ты снова рядом, как быстро возвращается жизнь и отступает темный, давящий страх.

– Где ты была? – прошептал я.

– На допросе, – ответила мама. – Здесь допрашивают по ночам. Спи. Все утрясется.

Днем обитателей камеры ненадолго вывели на прогулку во двор. Хорошо помню этот большой квадратный тюремный двор, огороженный со всех сторон приземистыми неказистыми зданиями с решетками на окнах. Сквозь булыжник уже пробивалась нежная зелень травы. Хорошо промытое ночным дождем весеннее небо радостно сияло голубизной. После спертого воздуха подвала дышалось легко, и даже темные фигуры полицейских не казались такими мрачными.

Мой второй тюремный срок также оказался недолгим: на следующий день нас выпустили. Но следствие не было закрыто, оккупационные власти настойчиво хотели установить нашу национальность. Таким образом, выражаясь современным юридическим языком, нам просто изменили меру пресечения.

Насколько я знаю, организовал наше освобождение «локотенент», а по-русски – лейтенант Порумбеску, служивший в одесской сигуранце. Для тех, кто не знает, поясняю: сигуранца – это румынская тайная полиция, аналог гестапо или, если хотите, советского НКВД.

Я познакомился с Леней Порумбеску несколько позже. Это был щеголеватый офицер, красивый темноволосый молодой парень лет двадцати, прекрасно говоривший по-русски, что, впрочем, было неудивительно. Дело в том, что Леня был армянин, из семьи, бежавшей из Турции в 1915 году во время армянской резни и осевшей в Румынии, в православной стране. Настоящую его армянскую фамилию я не помню, да это и не важно. Гораздо важнее, что к этому времени он был женихом младшей дочки Кобозевых – Наташи – и в этом качестве помогал семье и всем, кто входил в ее орбиту, чем только мог.

## Гибель мамы

Мы вернулись в свою комнату и через несколько дней поехали к Кобозевым. В руках мама несла чемодан. К этому времени Кобозевы уже снова поселились в своей огромной квартире во втором этаже на улице Франца Меринга. Мы пили

чай в большой столовой, взрослые разговаривали, слова не задевали моего внимания, скользили мимо, как шум ветра за окном, но вдруг я услышал, что говорят обо мне.

– Значит, ребенок останется у нас, – полуутвердительно-полувопросительно проговорил Иван Алексеевич.

Конец ознакомительного фрагмента.

---

Купить: https://tellnovel.com/ru/brodskiy_mihail/sabaneev-most

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить